

Кропоткин Петр. Анархия, ее философия, ее идеал

1907, источник: издание «Мысль». Перевод с французского. Лейпциг: А. Миллер; СПб.: Мысль, 1906. 47 с. Не без некоторого колебания решился я избрать предметом настоящей лекции философию и идеал анархизма...

- [Анархия, ее философия, ее идеал](#)
- [Примечания](#)

Анархия, ее философия, ее идеал

Не без некоторого колебания решился я избрать предметом настоящей лекции философию и идеал анархизма. Многие до сих пор еще думают, что анархизм есть не что иное, как ряд мечтаний о будущем или бессознательное стремление к разрушению всей существующей цивилизации. Этот предрассудок привит нам нашим воспитанием, и для его устранения необходимо более подробное обсуждение вопроса, чем то, которое возможно в одной лекции. В самом деле, давно ли — всего несколько лет тому назад — в парижских газетах пресерьезно утверждалось, что единственная философия анархизма — разрушение, а единственный его аргумент — насилие.

Тем не менее об анархистах так много говорилось за последнее время, что некоторая часть публики стала наконец знакомиться с нашими теориями и обсуждать их, иногда даже давая себе труд подумать над ними; и в настоящую минуту мы можем считать, что одержали победу по крайней мере в одном пункте: теперь уже часто признают, что у анархиста есть некоторый идеал — идеал, который даже находят слишком высоким и прекрасным для общества, не состоящего из одних избранных.

Но не будет ли, с моей стороны, слишком смелым говорить о философии в той области, где, по мнению наших критиков, нет ничего, кроме туманных видений отдаленного будущего? Может ли анархизм претендовать на философию, когда ее не признают за социализм вообще?

Я постараюсь ответить на этот вопрос по возможности ясно и точно, причем заранее извиняюсь пред вами в том, что некоторые из примеров, которыми я воспользуюсь, заимствованы из одной лекции, читанной мною в Лондоне.

Но эти примеры, мне кажется, лучше помогут выяснить, что именно нужно подразумевать под философией анархизма.

Вы, конечно, не посетуете на меня, если я, прежде всего, возьму несколько простых примеров из области естествознания. Я нисколько не имею при этом в виду принять их за основу для наших общественных воззрений — далеко нет; я просто думаю, что они помогут мне выяснить некоторые отношения, которые легче понять на явлениях, принадлежащих к области точных наук, чем на примерах, почерпнутых исключительно из сложных фактов жизни человеческих обществ.

Что больше всего поражает нас в настоящее время в этих науках, это — та глубокая перемена, которая происходит в последние годы во всем их способе понимания и истолкования природы.

Вы знаете, что было время, когда человек считал себя центром вселенной. Солнце, луна, планеты и звезды качались ему вращающимися вокруг нашей планеты, а эта планета, на которой жил он сам, — центром творения. Сам же он являлся в своих собственных глазах высшим существом своей планеты, избранником творца. И солнце, и луна, и звезды существовали для него одного; на него было обращено все внимание бога, который наблюдал за малейшими его поступками, останавливал для него движение солнца, парил в облаках и посылал на поля и города дождь или грозу в награду за добродетели или в наказание за преступления жителей. В течение целых тысячелетий человек представлял себе вселенную именно таким образом.

Но в XVI в., когда было доказано, что земля не только не центр вселенной, но не более как песчинка в солнечной системе, не более как шар, гораздо меньший по величине, чем многие другие планеты; что само солнце — это громадное светило по сравнению с нашей землей — есть не более как одна из тех бесчисленных звезд, которые мы видим светящимися на небе и составляющими своей массой Млечный Путь — в мироздании людей прошла, как вы знаете, огромная перемена. Каким ничтожным показался тогда человек в сравнении с этой бесконечностью, какими смешными показались его претензии! Изменение космогонических взглядов отразилось на всей философии, на всех общественных и религиозных взглядах того времени. Лишь с той поры начинается то развитие естественных наук, которым так гордимся мы теперь. В настоящее время, однако, во всех отраслях науки происходит еще более глубокая и еще более существенная перемена, и анархизм представляет собою, как вы увидите, не что иное, как одно из многочисленных проявлений этой эволюции, как одну из отраслей этой новой, нарождающейся философии.

Возьмите любое сочинение по астрономии конца прошлого или начала этого века. Само собою разумеется, что вы не встретите там утверждения, что наша маленькая планета занимает центр вселенной; но за то вы найдете на каждом шагу представление о громадном светиле — Солнце, — управляющем посредством силы притяжения всем нашим планетным миром. От этого центрального светила исходит сила, направляющая движение его спутников и поддерживающая гармонию всей системы. Планеты рождаются из некоторой центральной массы, представляя собою, так сказать, не более как продукт ее почкования. И этой центральной массе, место которой заступило теперь наше лучезарное солнце, они обязаны всем: ритмом своих движений, своими искусно распределенными орбитами, жизнью, оживляющей и украшающей их поверхность.

Если какие-нибудь причины стремятся нарушить их течение, заставить их уклониться от своих орбит, центральное светило восстанавливает порядок в системе, охраняя его и обеспечивая таким образом навеки ее существование.

И вот это-то мирозозерцание исчезнет в свою очередь, как исчезло старое. Астроном, сосредоточивавший раньше все свое внимание на солнце и крупных планетах, обращается

теперь к изучению бесконечно малых, населяющих вселенную. Он видит, что междупланетные и междузвездные пространства заполнены повсюду мелкими скоплениями вещества, — невидимыми и ничтожными, если их рассматривать в отдельности, но всемогущими по своей численности. Из этих скоплений одни довольно велики — как, например, тот болид, который еще не так давно распространил ужас в Испании; другие, наоборот, весят не более нескольких лотов и золотников, а вокруг них носятся еще более мелкие, почти микроскопические пылинки и газы, заполняющие собою все пространство.

И именно в этих пылинках, в этих бесконечно малых несущихся в пространстве по всем направлениям с громадной скоростью, сталкивающихся, сливающихся и распадающихся повсюду и постоянно, именно в них ищет современный астроном объяснения, как происхождения нашей системы — солнца, планет и их спутников, — так и движений, свойственных этим различным телам и гармонии во всей солнечной системе. Еще один шаг — и само всемирное тяготение окажется не более как равнодействующей беспорядочных и бессвязных движений этих бесконечно малых, — колебаний атомов, происходящих по всевозможным направлениям.

Таким образом, центр силы, перенесенный раньше с земли на солнце, оказывается теперь раздробленным, рассеянным повсюду: он везде и, вместе с тем, нигде. Мы видим, вместе с астрономом, что солнечные системы суть не более как продукт сложения бесконечно малых; что сила, которую рассматривали прежде, как управляющую всей системой, есть, может быть, сама не более как равнодействующая столкновений этих бесконечно малых; что гармония звездных систем — гармония только потому, что она представляет собою известное приспособление, известную равнодействующую этих бесчисленных движений, слагающихся, заполняющих и уравнивающих друг друга.

Вся вселенная принимает, при этом новом мирозерцании, иной вид. Представление о силе, управляющей миром, о предустановленном законе и предустановленной гармонии, которую отчасти предвидел Фурье и которая есть не что иное, как равнодействующая движений, бесчисленных скоплений вещества, двигающихся независимо один от другого и взаимно поддерживающих друг друга в равновесии.

И не в одной астрономии происходит такая перемена. То же самое мы видим в философии всех наук без исключения, как тех, которые занимаются природой, так и тех, которые имеют дело с человеком.

В физике исчезают отвлеченные представления о теплоте, магнетизме, электричестве. Когда в настоящее время физика говорит о нагретом или наэлектризованном теле, оно уже не представляется ему в виде безжизненной массы, в которой прилагается неведомая сила. Она старается открыть, как в этом теле, так и в окружающем его пространстве, движения и колебания бесконечно малых атомов, двигающихся по всем направлениям, колеблющихся, живущих и производящих своими колебаниями, своими столкновениями, своей жизнью все явления теплоты, света, магнетизма или электричества.

В науках, изучающих живые существа, постепенно исчезает понятие о виде и его изменениях, и его место занимает понятие об индивидууме, особи. Ботаник и зоолог

изучают индивидуума — его жизнь, его приспособление к среде. Перемены, вызываемые в отдельных особях сухостью или сыростью воздуха, теплом или холодом, обильем или недостатком пищи, большей или меньшей чувствительностью к влияниям окружающей среды, ведут к образованию видов. Изменение вида представляет теперь собою для биолога не что иное, как равнодействующую, как сумму изменений, происшедших в каждом индивидууме в отдельности. То, каков вид, зависит от того, каковы составляющие его индивидуумы, испытывающие на себе бесчисленные влияния окружающей среды и реагирующие на эти влияния каждый по-своему.

Точно так же, когда физиолог говорит о жизни какого-нибудь растения или животного, он имеет в виду, скорее, некоторую агломерацию, состоящую из миллионов отдельных индивидуумов, чем единую и нераздельную особь. Он говорит о федерации пищеварительных органов, органов чувств, нервной системы и т.д., — органов, очень тесно связанных между собою, отражающих на себе хорошее или дурное состояние каждого из них, но тем не менее живущих, каждый, своей особой жизнью. В свою очередь, всякий орган, всякая его часть состоит из независимых клеток, соединяющихся друг с другом для борьбы с неблагоприятными для их существования условиями. Каждый индивидуум представляет собою целый мир федераций, заключает в себе целый космос.

В этом мире физиолог находит независимые клетки крови, различных тканей, нервных центров; находит миллиарды белых телец — фагоцитов, направляющихся к тем частям тела, которые задеты микробами, для борьбы с этими врагами. Мало того: в каждой микроскопической клетке он видит теперь целый мир независимых элементов, из которых каждый живет своей жизнью, стремится к своему благу и достигает его, группируясь и соединяясь с другими элементами. Каждый индивидуум, одним словом, представляет собою мир органов, каждый орган — целый мир клеток, каждая клетка — мир бесконечно малых, и в этом сложном мире благосостояние целого зависит вполне от размеров благосостояния, которыми пользуются мельчайшие микроскопические частицы организованного вещества. Целый переворот происходит таким образом в философии жизни.

Но особенно важны последствия этого переворота в области психологии.

Еще совсем недавно психолог говорил о человеке, как о едином и нераздельном целом. Согласно религиозной традиции, он делил людей на добрых и злых, умных и глупых, эгоистов и альтруистов. Представление о душе, как целом, даже существовало еще у материалистов XVIII века.

Но что сказали бы в наше время ученые, если бы психолог заговорил теперь чем-нибудь подобном? Человек представляет собою теперь для психолога множество отдельных способностей, множество независимых стремлений, равных между собою, функционирующих независимо друг от друга, постоянно уравнивающих друг друга, постоянно находящихся в противоречии между собою. Взятый в целом, человек представляется современному психологу, как вечно изменяющаяся равнодействующая всех этих разнообразных способностей, этих независимых стремлений мозговых клеток и нервных центров. Все они связаны между собою и влияют друг на друга, но каждый и

каждая из них живет своею независимою жизнью, не подчиняясь никакому центральному органу, никакой душе.

Мне нет надобности входить в дальнейшие подробности: сказанного достаточно, чтобы показать, какое глубокое изменение происходит в настоящее время в области естественных наук. Изменение это заключается не в том, что они изучают теперь такие подробности, которыми пренебрегали раньше. Далеко нет: факты остаются те же, но изменяется самый способ их понимания. Чтобы охарактеризовать в немногих словах это новое направление, мы можем сказать, что прежде наука занималась изучением крупных результатов и крупных сумм (математик сказал бы: интегралов), тогда как теперь она изучает главным образом бесконечно малые величины — т.е. тех индивидуумов, из которых составляются эти суммы и в которых ученый увидел наконец элементы самостоятельные, индивидуализированные, но в то же время тесно связанные между собою.

Что же касается до гармонии, которую человеческий ум находит в природе и которая есть в сущности не что иное, как проявление известного постоянства явлений, то, несомненно, современный ученый признаёт ее в настоящее время больше, чем когда бы то ни было; но он уже не стремится объяснить ее действием «законов», созданных по определенному плану, предустановленных какой-то разумною волею.

То, что называлось прежде «естественным законом», представляется нам не более как улавливаемым нами отношением между известными явлениями; каждый такой «закон» получает теперь условную форму причинности, т.е. «если при таких-то условиях произойдет такое-то явление, то за ним последует другое, такое-то явление». Вне явлений нет закона; каждое явление управляется не законом, а тем явлением, которое ему предшествовало.

В том, что мы называем гармонией природы, не проявляется никакая предвзятая мысль; для ее установления достаточно было случайных столкновений и сочетаний. Одно явление, например, будет существовать в продолжение целых веков, потому что для установления той приспособленности к условиям, того равновесия, которое оно выражает, требовались века; другое явление просуществует лишь одно мгновение, потому что эта временная форма равновесия возникла мгновенно. Если планеты нашей солнечной системы не сталкиваются ежедневно и не разбиваются друг о друга, а существуют в продолжение миллионов веков, то это зависит от того, что они представляют собою такую форму равновесия, на установление которой, как равнодействующей целых миллионов слепых сил, потребовались миллионы веков. Если материки не подвергаются ежегодно разрушению вследствие вулканических сотрясений, то причина этого в том, что тысячи веков понадобились им, чтобы воздвигнуться частица за частицей и принять настоящую свою форму. Напротив того, молния длится одно мгновение, потому что представляет собою минутное нарушение равновесия и внезапное перераспределение еще не уравновешенных сил.

Таким образом, гармония в природе является для нас временным равновесием, устанавливающимся между различными силами, — некоторым временным приспособлением, которое может существовать лишь при условии постоянного видоизменения, представляя

собою в каждый данный момент равнодействующую всех противоположных сил. Стоит только одной из этих сил оказаться стесненной на время в своем действии, и гармония исчезнет. Способность к действию будет тогда постепенно накапливаться в данной силе и рано или поздно должна будет проявиться, должна будет обнаружиться. Если другие силы будут ей противодействовать, она все-таки не исчезнет, а нарушит, в конце концов, равновесие и разрушит гармонию, чтобы найти новое равновесие, новую форму приспособления. Так бывает в вулканических извержениях, когда заключенная внутри сила пробивает наконец застывшую лаву, которая мешает выходу газов, расплавленной лавы и раскаленного пепла. Так бывает и в революциях.

Аналогичное изменение в методах мышления совершается в то же время и в науках, занимающихся человеком.

Мы видим, например, что история, бывшая когда-то историей царств, стремится сделаться историей народов и изучением личностей. Историк стремится узнать, как жили в данную эпоху члены той или другой нации, каковы были их верования, их средства существования, какой общественный идеал рисовался в их воображении и какими средствами они обладали для его достижения. Именно действие всех этих сил, прежде оставлявшихся без внимания, даст ключ к истолкованию великих исторических явлений.

Точно так же ученый, занимающийся правом, уже не довольствуется изучением того или иного свода законов. Подобно этнологу, он стремится отыскать зарождение последовательного ряда учреждений, — стремится проследить их развитие в течение ряда веков, причем занимается не столько писаным законом, сколько местными обычаями, тем «обычным правом», в котором во все эпохи находило себе выражение созидательное творчество неизвестных народных масс. В этом направлении вырабатывается теперь совершенно новая отрасль науки, которая разрушит со временем все существующие понятия, внушаемые нам в школе, и объяснит историю таким же образом, как естественные науки объясняют природу.

Наконец, политическая экономия, бывшая в начале своего существования изучением богатства народов, становится теперь изучением богатства личностей. Она интересуется не столько тем, ведет ли данная нация крупную внешнюю торговлю, сколько тем, есть ли достаточно хлеба в хижине крестьянина и рабочего? Она стучится во все двери — в дворцы и в трущобы — спрашивая как у богатого, так и у бедного: «В какой степени удовлетворены ваши потребности в необходимом и в предметах роскоши?» И, убедившись, что у девяти десятых человечества не удовлетворены даже самые настоятельные потребности, она ставит себе тот же вопрос, который поставил бы себе физиолог, изучающий какое-нибудь животное или растение, а именно: «Каким путем возможно удовлетворить потребностям всех с наименьшей тратой сил? Каким образом может общество обеспечить каждому, а следовательно, и всем, наибольшую сумму благосостояния и счастья?» В этом именно направлении происходит изменение экономической науки, которая так долго была простым перечислением явлений, истолкованных в интересах меньшинства богатых, а теперь стремится сделаться (или, вернее, вырабатывает нужные для этого элементы) наукой в настоящем смысле слова, т.е. физиологией человеческих обществ.

По мере того, как в науке вырабатывается, таким образом, новая общая точка зрения, новая философия, мы видим, что и понятие об обществе становится совершенно иным, чем оно было до сих пор. Под именем анархизма возникает новый способ понимания прошедшей и настоящей жизни обществ и новый взгляд на их будущее, причем и то и другое проникнуто тем же духом, о котором мы говорили только что по поводу изучения природы. Анархизм является, таким образом, одной из составных частей нового мирозерцания, и вот почему анархист имеет так много точек соприкосновения с величайшими мыслителями и поэтами нашего времени.

В самом деле: по мере того как человеческий ум освобождается от понятий, внушенных ему меньшинством, стремящимся упрочить свое господство и состоящим из духовенства, войска, судебных властей и ученых, оплачиваемых из старания увековечить это господство, по мере того как он сбрасывает с себя путы, наложенные на него рабским прошлым, — вырабатывается новое понятие об обществе, в котором уже нет места такому меньшинству. Перед нами рисуется уже общество, овладевающее всем общественным капиталом, накопленным трудом предыдущих поколений, и организующееся так, чтобы употребить этот капитал на пользу всех, не создавая вновь господствующего меньшинства. В это общество входит бесконечное разнообразие личных способностей, темпераментов и сил, оно никого не исключает из своей среды. Оно даже желает борьбы этих разнообразных сил, так как оно сознаёт, что эпохи когда существовавшие разногласия обсуждались свободно и свободно боролись, когда никакая установленная власть не давила на одну из чашек весов, были всегда эпохами величайшего развития человеческого ума.

Признавая за всеми своими членами одинаковое фактическое право на все сокровища, накопленные прошлым, это общество не знает деления на эксплуатируемых и эксплуататоров, управляемых и управляющих, подчиненных и господствующих, а стремится установить в своей среде известное гармоническое соответствие — не посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь власти, которая считалась бы представительницей всего общества, не попытками установить единообразие, а путем призыва людей к свободному развитию, к свободному почину, к свободной деятельности, к свободному объединению.

Такое общество непременно стремится к наиболее полному развитию личности, вместе с наибольшим развитием добровольных союзов — во всех их формах, во всевозможных степенях, со всевозможными целями — союзов, постоянно видоизменяющихся, носящих в самих себе элементы своей продолжительности и принимающих в каждый данный момент те формы, которые лучше всего соответствуют разнообразным стремлениям всех. Это общество отвергает всякую предустановленную форму, окаменевшую под видом закона; оно ищет гармонии в постоянно изменчивом равновесии между множеством разнообразных сил и влияний, из которых каждое следует своему пути и которые все вместе, именно благодаря этой возможности свободно проявляться и взаимно уравниваться, и служат лучшим залогом прогресса, давая людям возможность проявлять всю свою энергию в этом направлении.

Такое представление об обществе и такой общественный идеал, несомненно, не новы. Изучая историю народных учреждений — родового строя, деревенской общины,

первоначального ремесленного союза, или «гильдии», и даже средневекового городского народоправства в первые времена его существования, мы находим повсюду стремление народа к созданию обществ именно этого характера — стремление, которому, конечно, всегда препятствовало господствовавшее меньшинство. Все народные движения носят на себе более или менее этот отпечаток; так, у анабаптистов и у их предшественников мы находим ясное выражение этих самых идей, несмотря на религиозный способ выражения, свойственный тому времени. К несчастью, до конца прошлого века к этому идеалу примешивался всегда церковный элемент, и только теперь он освободился из религиозной оболочки и превратился в понятие об анархическом обществе, основанное на изучении общественных явлений.

Только теперь идеал такого общества, где каждым управляет исключительно его собственная воля (которая есть, несомненно, результат испытываемых каждым индивидуумом общественных влияний), только теперь этот идеал является одновременно в своей экономической, политической и нравственной форме, опираясь на необходимость коммунизма, который в силу чисто общественного характера нашего производства становится неизбежным для современных обществ.

В самом деле, мы очень хорошо знаем теперь, что, пока существует экономическое рабство, нечего толковать о свободе. Слова поэта:

Не говори мне о свободе: Бедняк останется рабом! —

теперь уже проникли в умы рабочих масс, во всю литературу нашего времени; они подчиняют себе даже тех, кто живет чужой бедностью, лишая их той самоуверенности, с которой они заявляли прежде о своем праве на эксплуатацию других.

Что современная форма присвоения общественного капитала не должна более существовать — в этом согласны миллионы социалистов Старого и Нового Света. Даже сами капиталисты чувствуют, что эта форма умирает и уже не решаются защищать ее с прежней смелостью. Вся их аргументация сводится уже, в конце концов, к тому, что мы не придумали еще ничего лучшего. Но ни отрицать губительных последствий существующих форм собственности, ни защищать свое право на нее они уже не решаются. Они пользуются этим правом, пока им это позволяют, но не стремятся уже основать его на каком-нибудь принципе.

И это вполне понятно.

Возьмите, например, Париж — город, представляющий собой творчество столетий, продукт гения целой нации, результат труда двадцати или тридцати поколений. Можно ли уверить жителей этого города, постоянно работающих для его украшения, для его оздоровления, для его прокормления, для доставления ему лучших произведений человеческого гения, для того, чтобы сделать из него центр мысли и искусства; можно ли уверить того, кто создает все это, что дворцы, украшающие улицы Парижа, принадлежат по справедливости тем, кто является в настоящее время их законными собственниками, в то время как вся ценность их создается нами всеми и без нас равнялась бы нулю.

Усилиями ловких воспитателей народа этот обман может еще поддерживаться в течение некоторого времени. Над ним могут не задумываться даже сами рабочие массы. Но как только меньшинство мыслящих людей подняло и поставило перед всеми этот вопрос, в ответе на него уже не может быть сомнения, и народный ум отвечает: «Конечно, если отдельные люди присвоили себе лично все эти богатства, то — только ограбивши всех».

Точно так же можно ли убедить крестьянина в том, что та или другая земля, принадлежащая помещику, принадлежит ему по законному праву, когда этот крестьянин может рассказать историю каждого кусочка земли на двадцать верст в окружности? Можно ли, наконец, уверить его в том, что лучше, чтобы такая-то земля была под парком и усадьбой у такого-то помещика, тогда как кругом есть столько крестьян, которые с радостью взяли бы ее пахать?

Возможно ли, наконец, заставить заводского рабочего или рудокопа поверить тому, что завод и копи принадлежат по истинной справедливости их теперешним хозяевам, тогда как и рабочий и рудокоп уже начинают понимать смысл всех этих громадных грабежей и захватов железных дорог и угольных копей и узнают понемногу, какими путями законного грабежа богатые господа забирают земли и заводы.

Да и верили ли в сущности когда-нибудь народные массы во все эти увертки экономистов, старавшихся не столько убедить рабочих, сколько уверить самих богачей в законности их захватов. Подавленные нуждой и не находя себе никакой поддержки в обеспеченных классах общества, крестьяне и рабочие просто предоставляли вещи их собственному течению, лишь от времени до времени заявляя своих правах восстаниями. И если городские рабочие могли еще когда-то думать, что придет время, когда частное владение капиталом послужит, может быть, к общей пользе, накапливая массы богатств и делясь ими со всеми, то теперь и это заблуждение исчезает, как многие другие. Рабочий начинает убеждаться, что он как был, так и остался обездоленным: что для того, чтобы вырвать у своих хозяев хоть бы малейшую частицу накопленных его усилиями богатств, ему приходится прибегать либо к бунту, либо к стачке, т.е. голодать и рисковать тюрьмой, а не то и попасть под пули императорских, королевских или республиканских войск.

Вместе с тем проявляется все яснее и яснее еще и другой, более глубокий, недостаток существующего порядка. Он заключается в том, что при существовании частной собственности, когда все предметы, нужные для жизни и для производства, — земля, жилища, пищевые продукты, орудия труда, находятся в руках немногих, эти немногие постоянно мешают выращивать хлеб, строить дома, ткать и вообще — производить всего столько, сколько нужно, чтобы доставить достаток каждому. Рабочий смутно сознаёт, что наша техника, наши машины настолько могущественны, что могли бы доставить всем всего вволю, но что капиталисты и государство мешают этому повсюду. Им не нужно, чтобы крестьяне и рабочие имели всего вдоволь: они боятся этого. С сытыми труднее справляться, чем с голодными.

Мы не только не производим хлеба, всякой пищи, всякого платья и прочего больше, чем нужно, чтобы всем хватало вдоволь; но мы далеко не производим того, что обязательно необходимо.

В современных государствах, когда крестьянин смотрит на помещичьи необработанные поля, на их усадьбы и сады, охраняемые судьями и урядниками, он отлично понимает это; недаром он думает о том, как хорошо было бы распахать эти пустыри и выращивать на них хлеб, которого не хватает по деревням.

Когда углекопу приходится сидеть три дня в неделю сложа руки, — а в Англии это делается постоянно, как только цены на каменный уголь начинают падать, — он думает о том, сколько угля он мог бы добыть и как хорошо было бы, если бы в каждой семье было бы, чем топить печь.

Точно так же, когда на заводе нет работы, и рабочему приходится слоняться без дела, и он встречает каменщиков, тоже слоняющихся без работы, сапожников, жалующихся на безработицу, и т.д. — он отлично понимает, что в обществе что-то не ладно. Он знает, что столько народа живет в самых отчаянных трущобах, что ребятишки ходят босиком — и что всё это нужно рабочему. Да только кто-то мешает людям все это строить и делать, и все для того, чтобы трущобу сдать за дорогую цену, а голодного рабочего загнать на фабрику за самое скудное жалованье.

Когда господа ученые пишут толстые книги о том, что слишком много вырастили хлеба и наткали миткалей, и объясняют именно этой причиной плохие времена на фабриках, они, в сущности, очень затруднились бы ответом, если бы мы их попросили назвать, чего это в Англии, во Франции в Германии или в России так уже много, что его уже и делать нечего. Сколько хлеба везут каждый год из России, а между тем известно, что если бы весь хлеб, выращенный в России, оставался в самой России — весь как есть, — то и тогда его было бы круглым счетом всего 10 пудов на душу в год, т.е. ровно столько, сколько нужно, чтобы никто не голодал. Леса, что ли, много, когда пол России живет так тесно в избах, что по десять человек спят в одной комнате? Или домов слишком много в городах? Дворцов, точно, многовато, а квартир порядочных для рабочих — живет опять-таки по пяти и десяти человек в одной комнате. Или книг слишком много, когда целые миллионы людей живут, не видя за год ни одной книги... Одного только действительно производится слишком много — в тысячу раз больше, чем сколько их нужно: это — чиновников. Этих, точно, фабрикует слишком, слишком много; только об этом товаре что-то не пишут в ученых книгах. А между тем — чем не товар! Покупай, кто хочет!

То, что ученые называют «перепроизводством», есть, в сущности, то, что производится всякого товара больше, чем могут купить рабочие, разоряемые хозяевами и государством. Так оно и быть должно при теперешнем устройстве, потому что — как было замечено еще Прудоном — рабочие не могут одновременно покупать на свою заработанную плату то, что они производят, и в то же время доставлять обильную пищу всей армии тунеядцев, которая сидит у них на шее.

По самой сущности современного экономического устройства рабочий никогда не сможет пользоваться теми благами, которые составляют продукт его труда; и число тех, которые живут за его счет, будет всё увеличиваться. Чем развитее страна в промышленном отношении, тем больше это число, потому что европеец эксплуатирует также при этом множество азиатов, африканцев и т.д. Вместе с тем промышленность направляется, и

неизбежно должна направляться, не на то, в чем чувствуется недостаток для удовлетворения потребностей всех, а на то, что в данную минуту может принести наиболее крупные барыши хозяевам. Избыток у богатых неизбежно строится на бедности рабочих, и это бедственное положение большинства необходимо для того, чтобы всегда были рабочие, готовые продать себя и работать, получая только часть того, что они способны наработать. Иначе капиталист и не мог бы богатеть. А ему только это и нужно.

Эти отличительные черты нашего экономического строя составляют самую сущность его. Без них он не мог бы существовать. Кто, в самом деле, стал бы продавать свою рабочую силу за цену меньшую, чем то, что она может выработать, если бы его не принуждал к тому страх голода? Но эти-то существенные обязательные черты нашего строя и заключают в себе самое решительное его осуждение.

До тех пор, пока Англия и Франция являлись первыми в промышленности среди других народов, отсталых в смысле технического развития; пока они могли продавать свои бумажные и шерстяные ткани, свои шелка, свое железо, свои машины, а также целый ряд предметов роскоши, по таким ценам, которые давали им возможность обогащаться на счет своих покупателей — до тех пор можно было поддерживать в рабочем ложную надежду на то, что и ему достанется когда-нибудь более или менее крупная часть добычи. Но теперь эти условия исчезают. Народы, бывшие отсталыми тридцать лет тому назад, стали в свою очередь производить в крупных размерах бумажные и шерстяные ткани, шелк, машины и предметы роскоши. В некоторых отраслях промышленности они обогнали даже англичан и французов и, не говоря уже о торговле в отдаленных странах, где они вступают в соперничество со своими старшими братьями, начинают уже соперничать с ними и на их собственных рынках. За последнее время Германия, Швейцария, Италия, Соединенные Штаты, Австрия, Россия и Япония сделались странами крупной промышленности. За ними идут Мексика, Индия, даже Сербия, что же будет, когда и китайцы начнут подражать японцам и также начнут наводнять всемирный рынок своими ситцами, шелками, железом и машинами?

Оттого промышленные кризисы, т.е. времена застоя, приходят всё чаще и чаще и длятся дольше, а в некоторых отраслях производства становятся чуть не постоянными. Оттого также европейцам все более и более приходится воевать из-за рынков на востоке и в Африке, и оттого также европейская война, т.е. драка европейцев из-за рынков, не переставая, висит угрозой над головами всех европейских народов, разоряя их вооружениями. Если до сих пор эта война еще не разразилась, то это зависит, может быть, только от того, что крупным финансистам (которые торгуют деньгами) выгодно, чтобы государства лезли все дальше и дальше в долги. Но если только эти ростовщики увидят выгоду в войне, то они и натравят толпы людей друг на друга и заставят их убивать друг друга, лишь бы финансовые цари могли тем временем богатеть.

В современном экономическом строе все тесно связано, все тесно переплетается между собою, и все ведет к неизбежному падению окружающей нас промышленной и торговой системы. Ее дальнейшая жизнь исключительно вопрос времени, и это время можно считать уже не веками, а годами. Но если это вопрос времени, то вместе с тем оно и вопрос нашей

собственной энергии. Лентяи не создают историю: они пассивно терпят ее!

Вот почему во всех цивилизованных странах образуются такие значительные группы людей, энергически требующих возвращения обществу всех богатств, накопленных трудами предыдущих поколений. Обобществление (земли, угольных копей, заводов и фабрик, жилых домов, средств передвижения и т.д. стало общим боевым кличем этих партий и преследование — излюбленное средство богатых и правящих классов — уже не может предотвратить торжество восставшего ума. И если миллионы рабочих еще не двинулись до сих пор и не отняли силою у хищников землю и заводы, то только потому, что они ждут удобной минуты — вроде той, которая представилась в 1848 году, — чтобы броситься на разрушение существующего строя, встречая повсюду поддержку со стороны международного движения.

Такой момент не замедлит представиться. С 1872 года, т.е. с того времени, как Международный Союз рабочих был разгромлен правительствами — и даже в особенности с того времени — идея международной связи между рабочими сделала громадные успехи — успехи, в которых даже самые сторонники Международного Союза иногда не отдают себе отчета. Связь установилась на деле, в мыслях, в чувствах, в постоянных международных сношениях, в то время как плутократии — английская, французская, немецкая, русская — враждуют между собою и ежеминутно могут довести Европу до вооруженного столкновения. Несомненно одно: в тот день, когда во Франции снова будут провозглашены коммуны и начнется социальная революция, Франция снова встретит у народов всего мира, в том числе и у немецкого, итальянского и английского, ту симпатию, которой она пользовалась у народов Европы в 1848 и в 1793 годах. И если Германия, которая, кстати сказать, ближе к республиканской революции, чем это думают, выкинет знамя этой революции — к сожалению, якобинской — и бросится в движение со всем пылом, свойственным стране молодой и переживающей (как переживает теперь Германия) восходящий период своего развития, она встретит во Франции полное сочувствие и поддержку со стороны народа, который умеет любить смелых революционеров всех наций и ненавидит высокомерную плутократию. Нечего и говорить, что, если даже эти две враждующие нации сойдутся по-братски в момент революции, то всякое революционное движение в Италии, Испании, Австрии или в России откликнется в сердцах рабочих всего мира.

Многие причины мешают до сих пор этому неизбежному революционному взрыву в Европе. До некоторой степени опасность войны не дает Франции выступать резко и определенно на революционный путь и отвлекает ее внимание, направляя его на ложно-патриотическую дорогу. Но есть еще, мне кажется, другая, более глубокая причина, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Многочисленные признаки указывают нам на то, что во взглядах наших социалистов происходит в настоящую минуту глубокая перемена, схожая с той, которую я наметил вначале, говоря науке вообще. И неопределенность воззрения самих социалистов насчет общественной организации, к которой следует стремиться, ослабляет до известной степени их энергию. При своем зарождении, в сороковых годах, социализм является в форме подначального коммунизма, в форме единой и нераздельной республики, диктатуры и правительственного якобинства, перенесенного на экономическую почву. Таков

был идеал того времени. И социалист тех годов, был ли он христианин или свободомыслящий, одинаково готов был подчиниться всякому сильному правительству, даже империи, лишь бы только оно взялось за перестройку экономических отношений на пользу рабочих.

Но за последние пятьдесят лет в умах произошло глубокое изменение, особенно среди латинских народов и в Англии. Рабочие стали смотреть враждебно на правительственный и на церковный коммунизм, вследствие чего и появилось в Международном Союзе рабочих новое направление — коллективизм. Коллективизм обозначал вначале коллективную, т.е. общественную собственность орудий труда (не считая, однако, предметов, необходимых для жизни), и право каждой отдельной группы принимать для своих членов какой ей будет угодно способ распределения: коммунистический или индивидуальный. Владеем мы, стало быть, фабрикой, землей, железной дорогой и т.д. сообща и работаем сообща артелями; но каждая артель вольна по-своему распоряжаться тем, что она заработала: либо устроиться общим хозяйством и жить сообща, либо делить свой заработок, как она сама рассудит лучше. Вот что тогда (в самом начале семидесятых годов) называлось коллективизмом и по сию пору называется в Испании среди анархистов. Книга Гильома «Общий взгляд на социальную организацию» содержит прекрасное изложение этой системы, как она понималась тогда и проповедовалась анархистами, в противность государственному коммунизму, за который стояли марксисты. Мало-помалу французские социал-демократы переделали, однако, коллективизм в нечто вроде сделки между коммунизмом и государственным капитализмом (государство — главный капиталист); так что в настоящее время коллективисты стремятся к общей собственности на все то, что служит для производства, но хотят в то же время, чтобы каждый получал вознаграждение за свой труд — смотря по тому, сколько часов он проработал, — в виде чеков или расписок, где напечатано: «пять, десять, 20 часов труда». На эти чеки можно будет покупать в общественных магазинах все товары, которые в свою очередь будут тоже расцениваться по количеству часов, сколько потребно, чтобы выработать всякий товар. Так, например, если на то, чтобы вырастить сто четвертей ржи, нужно, скажем, проработать (средним числом) четыреста часов, то четверть ржи будет стоить 4 часа; пуд каменного угля обойдется, примерно, полчасом, а фунт мыла будет стоить, скажем, пять минут.

Если подумать хорошенько, то вы увидите, что коллективизм сводится, в сущности, к следующему:

частный (неполный) коммунизм по отношению к средствам производства и к воспитанию и в то же время конкуренция между личностями и группами из-за хлеба, жилищ и одежды;

индивидуализм по отношению к произведениям человеческого ума и произведениям искусства;

и, наконец, как поправка неудобств этой системы — общественная помощь детям, больным и старикам.

Одним словом, мы видим здесь ту же борьбу за существование, лишь несколько смягченную благотворительностью, т.е. все то же применение церковно-военного правила: «сначала

изрань людей, а затем лечи их», и все тот же простор для полицейского сыска с целью узнать, нужно ли предоставить каждое лицо в борьбе за существование самому себе или же ему должна быть оказана государственная помощь.

Идея чеков, как вы знаете, не нова: ее применял еще Роберт Оуэн, а потом Прудон. Теперь она получила новое название — «научного социализма».

Нужно, однако, заметить, что эта теория плохо прививается к народным массам, которые точно предчувствуют все ее неудобства, чтобы не сказать всю ее неосуществимость.

Во-первых, время, употребленное на какой-нибудь труд, еще не дает мерила общественной полезности этого труда, и все теории ценности — от Адама Смита до Маркса, — пытавшиеся основаться только на стоимости производства, высчитанной в затраченном труде, не могли до сих пор разрешить вопроса о ценности. Раз только происходит обмен, ценность предмета становится сложной величиной, зависящей, главным образом, от того, в какой степени она удовлетворяет потребностям не индивидуума, как прежде думали некоторые политико-экономы, а всего общества, взятого в целом.

Ценность есть явление общественное. Будучи результатом обмена, она имеет двойственный характер, представляя, с одной стороны, известное лишение, а с другой стороны, известное удовлетворение, причем и та и другая стороны должны рассматриваться не как индивидуальное, а как общественное явление.

Затем, наблюдая недостатки современного экономического строя, мы видим — и рабочие это отлично понимают, — что сущность его заключается в том, что рабочий поставлен в необходимость продавать свою рабочую силу. Не имея возможности прожить двух недель без работы, поставленный государством в невозможность воспользоваться своей силой и приложить ее к какому-нибудь полезному труду, не продавши ее барину, фабриканту или тому же государству, рабочий вынужден — силою, голодом — отказаться от тех выгод, которые мог бы принести ему его труд. Он отдает хозяину львиную долю того, что он вырастит или сработает; и притом он приносит в жертву свою свободу и даже право высказывать свое мнение о полезности того, что он производит, и о способе производства.

Накопление капитала зависит, таким образом, не от его способности поглощать прибавочную стоимость (само понятие прибавочной стоимости уже включает недодачу, т.е. эксплуатацию), а от того, что рабочий поставлен в необходимость продавать свою рабочую силу, зная очень хорошо, что он не получит всего того, что она произведет: что его интересы не будут соблюдены, что он станет по отношению к покупателю рабочей силы в положение низшее. Если бы этого не было, если бы миллионы обезземеленных и обездолженных, рабочих не были вынуждены закабалить себя на невыгодных условиях, капиталист никогда и не мог бы купить или нанять рабочую силу. Катковская партия крепостников и московских фабрикантов только о том и хлопочет, как бы обезземелить крестьян и обратить миллионы населения (вдесятеро больше, чем их нужно на все фабрики) в голодных и обездолженных батраков, которых можно закабалить за грош [1]. Отсюда следует, что для перестройки существующего порядка нужно уничтожить саму его причину, т.е. самый факт продажи и купли рабочей силы, а не одни его последствия, т.е. капитализм.

Рабочие смутно понимают это; все чаще и чаще они говорят теперь, что, если социальная революция не начнет с захвата всех средств жизни, т.е. с «распределения», как говорят экономисты, и не обеспечит каждому все необходимое для жизни, т.е. жилище, пищу и одежду, то это будет всё равно, как если бы ничего не было сделано. И мы знаем также, что при наших могущественных средствах производства такое обеспечение вполне возможно. Если же рабочий останется рабочим наемным, то он останется рабом того, кому вынужден будет продавать свою рабочую силу — все равно, будет то частное лицо или государство.

Точно так же народный ум, т.е. сумма всех бесчисленных мнений, возникающих в головах людей, предвидит, что если роль хозяина в покупке рабочей силы и в наблюдении за нею возьмет на себя государство, то результатом этого явится опять-таки самое отвратительное крепостничество. Человек из народа рассуждает не отвлеченностями, а прямо фактами повседневной жизни. Он чувствует поэтому, что то государство, о котором болтают в книгах, явится для него в форме несметных чиновников, взятых из числа его бывших товарищей по работе, а что это будут за люди — он слишком хорошо знает по опыту. Он знает, чем становятся отличные товарищи, раз они сделались начальством, и он стремится к такому общественному строю, в котором настоящее зло не было бы заменено новым, а совершенно уничтожено.

Вот почему коллективизм так-таки никогда и не мог увлечь народных масс, которые в конце концов приходят к коммунизму, но к коммунизму, все более и более освобождающемуся от церковной и якобинской окраски сороковых годов, т.е. к коммунизму свободному, анархическому.

Мало того. Оглядываясь назад на все то, что мы пережили за последнюю четверть века в европейском социалистическом движении, я положительно убежден, что современный социализм вынужден непременно сделать шаг вперед в направлении к свободному коммунизму и что до тех пор, пока он этого не сделает, та неопределенность в умах массы, о которой я только что говорил, будет задерживать дальнейшие успехи социалистической пропаганды.

Мне кажется, что силою вещей социалист вынужден признать, прежде всего, что материальное обеспечение существования всех членов общества должно быть первым актом социальной революции. Но вместе с тем ему приходится сделать и еще один шаг, а именно признать, что такое обеспечение должно быть достигнуто не при помощи государства, а совершенно вне его, помимо его вмешательства.

Что общество, взявши в свои руки все накопленные богатства, может свободно обеспечить всем довольство, под условием четырех или пяти часов в день физического труда в области производства — в этом согласны все те, кто только думал об этом вопросе. Если бы каждый человек привыкал с детства знать, откуда берется хлеб, который он ест, дом, в котором он живет, книга, по которой он учится, и т.д., и если бы каждый привыкал соединять умственный труд с трудом физическим, в какой бы то ни было отрасли производства, — общество могло бы легко достигнуть этого, даже помимо расчета на упрощения в способах производства, которые принесет нам более или менее близкое будущее.

В самом деле, достаточно подумать только о том, какое невообразимое количество сил тратится в настоящую минуту задаром, чтобы представить себе, как много могло бы получать всякое образованное общество, как мало труда потребовалось бы для этого от каждого человека и какие грандиозные дела могло бы такое общество предпринимать — дела, о которых теперь не может быть даже и речи. К сожалению, метафизическая политическая экономия никогда не занималась тем вопросом, который должен был бы составлять всю ее сущность, т.е. вопросом об экономии сил [2]).

Относительно возможности для коммунистического общества быть богатым, при нашей современной, могучей технике, сомнения быть не может. Сомнение является только в вопросе о том, может ли существовать подобное общество без полного подчинения личности контролю государства и не требуется ли, для достижения материального благосостояния, чтобы европейские общества принесли в жертву даже ту незначительную свободу, которую им удалось, ценою стольких жертв, завоевать в продолжение нашего века?

Одна часть социалистов утверждает, что этого результата можно достигнуть не иначе, как принеся свободу в жертву на алтарь государства. Другая же, к которой принадлежим мы, думает, наоборот, что возможно достигнуть коммунизма, т.е. владеть сообща всем нашим общественным наследием и производить сообща все богатства, — только путем уничтожения государства, завоевания полной свободы личности, добровольного соглашения и совершенно свободного соединения в союзы и в федерации союзов.

Этот вопрос стоит в настоящую минуту на первом плане, и на этот вопрос социализм должен дать тот или другой ответ немедленно, если не хочет, чтобы все его усилия оказались бесплодными.

Рассмотрим же его со всем тем вниманием, которого он заслуживает.

Каждый социалист легко вспомнит, как много предрассудков жило в нем в то время, когда он впервые услышал или подумал сам, что уничтожение частной собственности на землю и капитал становится исторической необходимостью.

То же самое происходит в настоящее время с человеком, которому в первый раз приходится слышать, что уничтожение государства с его законами, со всей его системой управления, со всем его объединением точно так же становится исторической необходимостью, что уничтожение капитализма невозможно без разрушения государства.

Эта мысль, бесспорно, противна всем понятиям, привитым нам нашим воспитанием — воспитанием, которым (не мешает помнить) руководят в своих выгодах церковь и государство.

Мы так много учились и читали о необходимости власти, так запуганы и боимся самих себя (христианство) и еще более того «неразумной толпы» (история), мы так много наслышаны об ужасах бунтов, беспорядков «хаоса», «анархии», что мысль безвластия нас пугает с первого раза.

Но становится ли от этого мысль безвластия менее справедливой? И раз мы принесли уже в жертву своего освобождения столько предрассудков относительно хозяина, собственности, религии, — остановимся ли мы перед предрассудком государства?

Я не стану вдаваться в критику государства; это сделано было уже много раз. Точно так же я не стану рассматривать и его историческую роль и сошлюсь на другую мою работу («Государство и его роль в истории»). Я ограничусь несколькими общими замечаниями.

Прежде всего, в то время как человеческие общества существуют с самого начала появления на земле человека, государство представляет собою, напротив, форму общественной жизни, создавшуюся лишь очень недавно у наших европейских обществ. Человек существовал уже в течение целых тысячелетий, прежде чем образовались первые государства: Греция и Рим процветали уже целые века до появления македонской и римской империй, а для нас, современных европейцев, государства существуют, собственно говоря, только с XVI века. Именно тогда завершилось уничтожение свободных общин и создалось то общество взаимного страхования между военной и судебной властью, землевладельцами и капиталистами, которое называется государством.

Лишь в шестнадцатом веке был нанесен решительный удар преобладавшим до того представлением о городской и сельской независимости свободных союзов и организаций, свободной на всех ступенях федерации независимых групп, отправлявших все те обязанности, которые теперь государство захватило в свои руки. Лишь после поражения крестьянских, гуситского и анабаптистского движений и после покорения вольных городов союз между церковью и зарождавшейся королевской властью положил конец федеративной вольной организации. Между тем это устройство просуществовало с девятого по пятнадцатый век и дало тот замечательный период свободных средневековых городов, создавших целую новую и могучую цивилизацию, характер которой так хорошо уловили Огюстен Тьерри и Сисмонди — историки, к сожалению, слишком мало читаемые в наше время.

Известно, каким образом это соглашение между дворянином, священником, купцом, судьей, солдатом и королем упрочило свое господство. Все свободные союзы, существовавшие в средневековой городской и деревенской общине, — все гильдии, все союзы ремесленников, мастеров и подмастерий, братства, подсоседства и т.д., — были уничтожены повсеместно: королями в Англии, Франции, Испании, Италии и Германии, московскими царями в России. Земли, принадлежавшие общинам, были отданы на разграбление; богатства, составлявшие собственность гильдий, были конфискованы; всякое свободное соглашение между людьми подвергалось безусловному и жестокому запрещению. Чтобы установить свое господство, чтобы получить возможность управлять потом лишь стадами, не имевшими между собою никакой прямой связи, Церковь и Государство не останавливались ни перед чем: убийство тайное, в одиночку и массовое, колесование, виселица, меч и огонь, пытка, выселение целых городов — все было пущено в ход. Вспомните о сотне слишком тысяч крестьян, перебитых в Голландии, о другой сотне тысяч убитых на войне и в Швейцарии, о зверствах Ивана Грозного в Новгороде...

Только теперь, только в последние двадцать лет мы начинаем отвоевывать путем борьбы и революции некоторые крохи тех прав на вольные артели и всевозможные союзы, которыми пользовались средневековые ремесленники и крестьяне, даже крепостные [3].

Мы опять начинаем отвоевывать эти права, и если вы взгляните в жизнь современных цивилизованных народов — книги не говорят об этом, но присмотритесь к жизни, — вы увидите, что господствующее стремление нашего времени есть стремление к образованию тысяч всевозможных союзов и обществ для удовлетворения самых разнообразных потребностей современного человека.

Вся Европа покрывается добровольными союзами с целью изучения, обучения промышленности, торговли, науки, искусства и литературы, с целями эксплуатации и с целью ограждения от эксплуатации, с целью развлечения и серьезной работы, наслаждения и самопожертвования,— одним словом, для всего того, что составляет жизнь деятельного и мыслящего существа. Мы находим эти постоянно возникающие общества во всех уголках политической, экономической, художественной и умственной жизни Америки и Европы. Одни из них быстро исчезают, другие живут уже десятки лет, и все они стремятся, сохраняя независимость каждой группы, кружка, отделения или ветви, соединиться друг с другом, сплотиться, образовать между собою федерации в каждой стране и международные и охватить все существование цивилизованного человека сетью перекрещивающихся и переплетающихся нитей. Эти общества насчитываются уже десятками тысяч и охватывают миллионы людей, а между тем не прошло еще и пятидесяти лет с тех пор, как Церковь и Государство стали терпеть некоторые — только еще некоторые из них.

Повсюду эти общества захватывают то, что прежде считалось обязанностью государства, и стремятся заменить деятельность его объединенной, чиновничьей власти деятельностью добровольною. В Англии мы находим даже общества страхования от воровства [4], общества спасания на водах, общества добровольных защитников страны, общества для защиты берегов и т.д. без конца. Государство стремится, конечно, взять всякое такое общество под свою опеку и превратить его в орудие упрочения своей власти, и иногда это ему удается (Красный Крест); но первоначальная цель всех этих обществ — обходиться без государства. Не будь Церкви и Государства, свободные общества давно охватили бы область образования и воспитания, уже, конечно, давали бы лучшее образование, чем то ложное образование, которое дает — далеко не всем — государство. Впрочем, вольные общества уже начинают вторгаться и в эту область и уже оказывают в ней свое влияние, несмотря на все препятствия.

При виде того, как много делается в этом направлении, помимо государства и наперекор ему (так как оно старается сохранить за собою господство, завоеванное им в течение трех последних столетий), при виде того, как добровольные союзы захватывают понемногу все и останавливаются в своем развитии, только уступая силе государства, мы волею-неволею должны признать, что здесь проявляется могучее стремление и пробивается новая сила современного общества. И мы можем тогда с полным правом поставить следующий вопрос: «если через пять, десять, двадцать лет — всё равно — восставшим рабочим удастся сломить силу названного общества взаимного страхования между собственниками, банкирами, священниками, судьями и солдатами; если народ станет на несколько месяцев хозяином

своей судьбы и завладеет всеми созданными им и принадлежащими ему по праву богатствами, — то займется ли он снова восстановлением хищнического государства? Не попытается ли он, наоборот, создать организацию, идущую от простого к сложному, основанную на взаимном соглашении, соответственно разнообразным и постоянно меняющимся потребностям каждой отдельной местности, с целью обеспечить за собою пользование завоеванными богатствами и возможность жить и производить все то, что окажется необходимым для жизни? Иными словами, разрушив современную государственную организацию, чтобы совершить социальный переворот, что лучше: создавать ли вновь государство — вековое орудие угнетения народов — в обновленной форме, или же искать средств обойтись без него?

Пойдет ли народ за господствующим стремлением века, или, наоборот, он пойдет против него, пытаясь вновь создать уничтоженную им же власть?

Культурный человек, которого Фурье с презрением называл «цивилизованным» — трепещет при мысли, что общество может остаться в один прекрасный день без судей, без жандармов и без тюремщиков.

Действительно ли, однако, так нужны нам эти господа, как говорят нам в книгах — книгах, написанных учеными, которые обыкновенно очень хорошо знают, что было написано до них в других таких же книгах, но совершенно не знают по большей части ни народа, ни его ежедневной жизни.

Если мы можем безопасно ходить не только по улицам Парижа, где кишат полицейские, но и по деревенским дорогам, где лишь изредка встречаются прохожие, то чему обязаны мы этим: полиции или, скорее, отсутствию людей, желающих убить или ограбить прохожего? Я не говорю, конечно, о людях, носящих при себе миллионы — таких мало, — я имею в виду простого буржуа, который боится не за свой кошелек, наполненный несколькими дурно приобретенными червонцами, а за свою жизнь. Основательны ли его опасения?

Недавний опыт показал нам, что Джек Потрошитель совершал в Лондоне свои зверства буквально-таки под носом у полицейских, — а лондонская полиция — самая деятельная в мире, — и прекратил он их только тогда, когда его начало преследовать само уайтчепельское население.

А наши ежедневные отношения с нашими согражданами? И неужели вы думаете, что противообщественные поступки в самом деле предотвращаются судьями, тюрьмами и жандармами? Неужели вы не видите, что судья, т. е. человек, одержимый законническим помешательством и вследствие этого всегда жестокий, — что доносчик, шпион, тюремщик, палач полицейский (а без них как жить судье?) и все подозрительные личности, ютящиеся вокруг судов, в действительности представляют, каждый из них, центр разврата, распространяемого в обществе? Присмотритесь-ка к этой жизни судейской, прочитайте отчеты процессах, пробежите объявления, ими полны газеты английских агентств для частного сыска, предлагающие за бесценок отслеживать поведение мужей и жен при помощи опытных сыщиц; постарайтесь, хотя бы по отрывкам, составить картину Скотланд-Ярда (английского Третьего Отделения), Тайной Парижской полиции с ее помощницами на

тротуарах и русского Третьего Отделения; загляните за кулисы судов, посмотрите, что делается на задах торжественных каменных фасадов, и вы почувствуете глубочайшее отвращение. Разве тюрьма, убивающая в человеке всякую волю и всякую силу характера и заключающая в своих стенах больше пороков, чем в каком бы то ни было другом пункте земного шара, не играла всегда роль высшей школы преступления, а зала суда — всякого суда — школы самой гнусной жестокости?

Нам возражают, что, когда мы требуем уничтожения государства и всех его органов, мы мечтаем об обществе, состоящем из людей лучших, чем те, которые существуют в действительности. Нет, ответим мы, тысячу раз нет! Мы требуем одного: чтобы эти гнусные государственные учреждения не делали людей худшими, чем они есть!

Известный немецкий юрист Иеринг задумал однажды резюмировать свои научные труды в сочинении, в котором он намеревался разобрать средства, служащие к поддержанию общественной жизни. Сочинение это носит название «Цель в праве» (Der Ziel im Recht) и пользуется вполне заслуженной репутацией.

Он выработал план своего труда и разобрал с большим знанием два существующих принудительных средства: наемную плату и формы принуждения, помеченные в законе. В конце он оставил два параграфа, чтобы упомянуть двух непринудительных средствах, которым он, как и следовало юристу, не придавал особенного значения, а именно: чувству долга и чувству симпатии.

И что же? По мере того, как он исследовал принудительные средства, он убеждался в их полной недостаточности, полной неспособности поддержать общественный строй. Он посвятил им целый том, и в результате исследования — их значение сильно пошатнулось. Когда же он приступил к двум последним параграфам и принялся думать о непринудительных средствах общественной жизни, он увидел, что они имеют такое огромное, преобладающее значение, что вместо двух главок ему пришлось написать целый второй том, вдвое толще первого, об этих двух средствах: о добровольном самоограничении и о взаимной поддержке, причем он исчерпал только ничтожную часть предмета, так как говорил только о том, что вытекает из чувства личной симпатии, едва затронув вопрос о свободном соглашении для выполнения общественных отправлений.

С каждым из вас случится то же, что с Иерингом, если им серьезно подумаете об этом предмете, и вместо того, чтобы повторять формулы, законченные вами в школе, сами серьезно займитесь этим вопросом. Подобно Иерингу вы увидите, какое ничтожное значение имеет в обществе принуждение сравнительно с добровольным соглашением.

С другой стороны, если вы последуете уже старому совету, данному Бентамом, и подумаете о гибельных — прямых, а в особенности косвенных — последствиях всякого законного принуждения, вы возненавидите, как Толстой и как мы, это употребление силы и придете к заключению, что в руках общества есть тысяча других, гораздо более действительных средств для предотвращения противообщественных поступков; если же оно теперь не прибегает к этим средствам, то только потому, что и его воспитание, руководимое церковью и государством, и его трусость и леность мысли мешают ясному пониманию этих вопросов.

Если ребенок совершил какой-либо проступок — проще всего его наказать: тогда, по крайней мере, не нужно никаких объяснений. А разве трудно казнить человека, особенно когда есть на то наемные палачи — в Англии, всего по фунту, т.е. по 10 рублей за каждого повешенного? Чего лучше! Заплатить несколько сот рублей в год и не ломать дворянскую голову над причинами преступлений! А в Сибирь сослать или в Кресты запереть — и того проще! Но — не омерзительно ли это? Нам часто говорят, что мы, анархисты, живем в мире мечтаний и не видим современной действительности. На деле же выходит, что мы, может быть, слишком хорошо ее видим и знаем, а потому и стараемся прорубить топором просеку в окружающей нас чаще вековых предрассудков по вопросу о всякой власти «от Бога или от мира сего».

Мы далеко не живем в мире видений и не представляем себе людей лучшими, чем они есть на самом деле: наоборот, мы именно видим их такими, какие они есть, а потому и утверждаем, что власть портит даже самых лучших людей и что все эти теории «равновесия власти» и «контроля над правительством» не что иное, как ходячие формулы, придуманные теми, кто стоит у власти, для того, чтоб уверить верховный народ, будто правит именно он. На деле же государством народ нигде не правит. Везде богатые и обученные управлению управляют бедными [5]. Именно в силу нашего знания людей мы и говорим правителям, которые думают, что без них люди загрызли бы друг друга: «Вы рассуждаете, как тот французский король, который, будучи принужден уехать за границу, восклицал: «Что станется без меня с моими несчастными подданными!»

Конечно, если бы люди были такими высшими существами, какими изображают их утописты власти, если бы мы могли, закрывая глаза на действительность, жить, как они, в мире иллюзий насчет нравственной высоты тех, кого они считают призванными к управлению, тогда, может быть, и мы думали бы, как они, и верили бы, как они, в добродетели правителей.

В самом деле, что же было бы худого в рабстве, если бы рабовладельцы действительно были теми праведными архангелами, какими их изображали утописты рабства? Вы, может быть, помните, какими розовыми красками нам расписывали американских рабовладельцев и крепостников-помещиков лет тридцать тому назад? Они ли не заботились отечески своих рабах и крепостных! Без барина эти ленивые, беспечные, непредусмотрительные дети просто пропали бы с голоду! И к чему — говорили нам крепостники — станет барин обременять своих рабов непосильным трудом или истязать их под розгами! Ведь его прямая выгода хорошо кормить своих рабов, хорошо с ними обращаться, заботиться об них, как о своих собственных детях! Уж как сладко нам певали это в нашем детстве всероссийские Скарятини, американские газетчики и английские попы! А кроме того, ведь существовал «закон», каравший рабовладельца за малейшее уклонение от своих обязанностей! А между тем Дарвин, вернувшись из своего путешествия в Бразилию, так всю жизнь и был преследуем криками изувечиваемых рабов, которые он слышал в Бразилии, и рыданиями женщин, стонавших от боли в закованных в тиски руках. А нам, детям бывших помещиков, по сию пору краска бросаются в лицо при одной мысли о том, что делали наши отцы.

Если бы господа, стоящие у власти, действительно были людьми, настолько умными и преданными общественному делу, как нам изображают их хвалители государства, — какую

бы можно было создать великолепную утопию, с правительством и хозяевами во главе! Хозяин был бы не тираном, а отцом своих рабочих! Завод был бы привлекательнейшим местопребыванием и никогда бы целые населения рабочих не оказывались осужденными на физическое вырождение. Государство не отравляло бы своих рабочих, заставляя их делать спички с белым фосфором, когда его так легко заменить красным. Таких судей, которые осуждают на целые годы голода и лишений и на смерть от истощения ни в чем неповинных жен и детей приговариваемых ими людей, — таких зверей не существовало бы; прокуроры не стали бы требовать смертной казни для подсудимого ради того только, чтобы проявить свои ораторские таланты, и не нашлось бы ни тюремщиков, ни палачей для приведения в исполнение приговоров, которых судьи сами и не хотят исполнять! Да что тут говорить! У самого Плутарха не хватило бы слов, чтобы расписать все добродетели депутатов того блаженного времени, депутатов, которым противен самый вид панамских чеков! Дисциплинарные батальоны стали бы рассадниками всяких добродетелей, а постоянные армии — одним удовольствием для граждан, так как ружья служили бы солдатам только для того, чтобы маршировать перед няньками и детьми с букетами цветов, надетыми на штыки.

Какая прекрасная утопия, какая чудная святочная сказка создается в нашем воображении, как только мы предположим, что люди, стоящие у власти, представляют собою высший класс людей, которому чужды или почти чужды слабости простых смертных! Достаточно было заставить чиновников контролировать друг друга, соответственно Табелио рангах, и ограничить всего только двадцатью пятью номерами количество рапортов и отношений, которыми позволено будет канцеляриям обмениваться в случае, если где-нибудь ветер ломает казенное дерево. (Теперь в объединенной Франции, чтобы продать казенное дерево, сломанное бурей, канцелярии обмениваются 53-мя номерами бумаг.) В случае надобности можно, кроме того, предоставить надзор за чиновниками простым смертным, которые в государственных утопиях отличаются в своих взаимных отношениях всевозможными пороками, но становятся олицетворением мудрости, как только им приходится выбирать себе правителей.

Вся наука государственного управления, созданная самими правителями, проникнута этой утопией. Но мы слишком хорошо знаем людей, чтобы предаваться подобным мечтам. Мы не прилагаем двух различных мерок, смотря по тому, идет ли речь об управителях или об управляемых; мы знаем, что мы сами несовершенны и что даже самые лучшие из нас быстро испортились бы, если бы попали во власть. Мы берем людей такими, каковы они есть, и вот почему мы ненавидим всякую власть человека над человеком и стараемся всеми силами — может быть, даже недостаточно — положить ей конец.

Но одного разрушения недостаточно. Нужно также уметь и создать. Народ всегда оказывался обманутым во всех революциях именно потому, что недостаточно думал об этом созидании. Разрушив старое, он предоставлял всегда заботу о будущем буржуазии, которая имела перед ним то преимущество, что знала более или менее ясно, чего хотела, и таким образом восстанавливала власть снова в свою пользу.

Вот почему, стремясь к уничтожению власти во всех ее проявлениях, к уничтожению законов и механизма, служащего для того, чтобы заставить им подчиняться, отрицая всякую лестничную организацию и проповедуя свободное соглашение, анархизм стремится вместе с тем к поддержанию и расширению того драгоценного ядра привычек общественности, без которых не может существовать никакое человеческое, никакое животное общество. Только вместо того, чтобы ждать поддержки этих общественных привычек от власти нескольких человек, он ждет его от постоянной деятельности всех.

Коммунистические учреждения и привычки необходимы для общества не только как способ разрешения экономических затруднений, но также и для поддержания и развития тех привычек общественности, которые сближают людей, создают между ними отношения, обращающие пользу каждого в пользу всех, — учреждения, соединяющие людей, вместо того чтобы разъединять их.

Когда мы задаем себе вопрос, какими средствами поддерживается в человеческом или животном обществе известный нравственный уровень, мы находим всего три таких средства: преследование и наказание противообщественных поступков, нравственное воспитание и широкое применение взаимной поддержки в жизни. А так как эти три способа уже были испробованы, то мы можем судить о них на основании их результатов.

Что касается бессилия судебного наказания, то оно достаточно доказывается тем безобразным положением, в котором находится современное общество, и самою необходимостью той революции, к которой мы стремимся и неизбежность которой мы все чувствуем. В области хозяйственной система принуждения привела нас к фабричной каторге; в области политической — к государству, т.е. к разрушению всех связей, существовавших прежде между гражданами (якобинцы 1793 года разорвали даже те связи, которым удалось устоять против королевской власти), с целью сделать из них бесформенную массу подданных, подчиненную во всех отношениях одной срединной власти. Государственные законы и наказание не только помогли создать все бедствия современного хозяйственного, политического и общественного строя, но вместе с тем обнаружили свою полную неспособность поднять нравственный уровень общества. Они не сумели даже удержать его на том уровне, на каком оно стояло. В самом деле, если бы какая-нибудь благодетельная фея вдруг развернула перед нашими глазами все те преступления, которые совершаются в цивилизованном обществе под прикрытием неизвестности, протекции высокопоставленных лиц и самого закона, общество содрогнулось бы. За крупные политические преступления, вроде наполеоновского переворота 2 декабря, или кровавой расправы с коммуной, или царских расправ в каторге и Шлиссельбурге, виновные никогда не несут наказания. Некрасов правду сказал: «Бичуют маленьких воришек для удовольствия больших». Мало того. Когда власть берет на себя задачу улучшать общественную нравственность «наказанием виновных», она лишь порождает ряд новых преступлений — в судах и тюрьмах. К принуждению люди прибегали в течение целого ряда веков и так безуспешно, что мы находимся теперь в положении, из которого не можем выйти иначе, как разрушив и уничтожив принудительные учреждения нашего прошлого.

Мы далеко не отрицаем значения второго из упомянутых средств: нравственного воспитания; особенно такого, которое бессознательно передается в обществе от одного к другому и вытекает из общего свода всех мыслей и мнений, высказываемых каждым из нас относительно событий ежедневной жизни. Но эта сила может влиять на общество только при одном условии: если ей не будет препятствовать другое, безнравственное, воспитание, вытекающее из существующих государственных учреждений.

В этом последнем случае ее влияние сводится к нулю или даже оказывается вредным. Возьмите христианскую нравственность: какая другая нравственность могла бы иметь такое сильное влияние на умы, как христианская, говорившая от имени распятого Бога и действовавшая всею силою своей таинственности, всей поэзией мученичества, всем величием прощения палачам? А между тем влияние государственных учреждений оказалось сильнее христианской религии. Христианство было в сущности восстанием иудеев против императорского Рима, но на деле оно было покорено этим Римом, оно приняло его начала, его обычаи, его язык. Христианская церковь проникнулась началами римского государственного права и, вследствие этого, явилась в истории союзницей государства, — самого отчаянного врага тех полуккоммунистических учреждений, к которым взывало христианство в начале своего существования.

Можем ли мы предположить, хотя бы на минуту, что нравственное воспитание, устанавливаемое под покровительством министерских циркуляров, будет иметь ту творческую силу, которой не оказалось у христианства? И что может сделать воспитание, хотя бы оно и стремилось сделать людей действительно общественными, если против него будет стоять другое воспитание, ежедневное, вытекающее из суммы всех противообщественных привычек и учреждений?

Остается третий элемент — само учреждение, действующее так, чтобы поступки, в которых проявляются чувства общности, вошли в привычку, сделались делом инстинкта. Эта сила, как показывает нам история, никогда не оказывалась беспомощною; никогда она не являлась обоюдоострым оружием. И если случалось, что она не достигала своей цели, то только тогда, когда хороший обычай, становясь понемногу неподвижным, окристаллизованным, обращался в какую-то неприкосновенную религию и поглощал личность, отнимая у нее всякую свободу действия и тем самым вынуждая ее бороться с тем, что становилось препятствием к дальнейшему развитию.

В самом деле, все то, что послужило в прошлом как элемент развития, прогресса или как орудие нравственного и умственного воспитания человечества, — всё это вытекало из приложений на практике начал взаимной поддержки и проявления таких привычек, которые признавали равенство между людьми, побуждали их самих соединяться друг с другом, спланиваться для производства и потребления или же для общей защиты образовывать союзы и прибегать для решения возникавших между ними споров к посредникам, выбранным из своей собственной среды.

Всякий раз, когда эти учреждения, рождавшиеся как продукт народного творчества в те эпохи, когда народ завоевывал себе свободу, достигали в истории наибольшего развития — всякий раз и нравственный уровень общества, и его материальное благосостояние, и его

свобода, и его умственный прогресс, и развитие личности — всё поднималось. Всякий же раз, когда, наоборот, в силу ли иностранного завоевания, или в силу развития государственных предрассудков, люди все больше и больше делились на управителей и управляемых, как эксплуататоров и эксплуатируемых, — нравственный уровень общества понижался; вместо благосостояния большинства являлась нажива некоторых, и общий дух века быстро мельчал.

Этому учит нас история, и именно из нее мы черпаем нашу веру в учреждения свободного коммунизма как в силу, которая способна поднять нравственный уровень общества, пониженный привычками государственности.

В настоящее время мы живем в городах рядом с другими людьми, даже не зная их. В дни выборов мы встречаемся друг с другом на собраниях, слушаем лживые обещания или нелепые речи кандидатов и возвращаемся к себе домой. Государство заведует всеми делами, имеющими общественный интерес; на нем лежит обязанность следить за тем, чтобы отдельные люди не нарушали интересов своих сограждан, и, в случае надобности, исправлять нанесенный им вред, наказывая виновных. На нем лежит забота о помощи голодающим, забота образования, защита от врагов и т.д. и т.д.

Ваш сосед может умереть с голоду или заколотить на смерть своих детей, — до вас это не касается: это дело полиции. Вы не знаете своих соседей; вас ничто не связывает с ними, и все разъединяет, и, за неимением лучшего, вы просите у Всемогущего (прежде это был бог, а теперь государство), чтобы он не допускал противообщественные страсти до их крайних пределов.

В коммунистическом обществе дело неизбежно должно пойти иначе. Организацию коммунистического строя нельзя поручить какому-нибудь законодательному собранию, — парламенту, городскому или мирскому совету. Оно должно быть делом всех, оно должно быть создано творческим умом самого народа; коммунизм нельзя навязать свыше. Без постоянной, ежедневной поддержки со стороны всех он не мог бы существовать; он задохнулся бы в атмосфере власти.

Вследствие этого коммунизм и не может существовать иначе, как создавая тысячи точек соприкосновения между людьми по поводу их общих дел. Он не может жить иначе, как создавая независимую местную жизнь для самых мелких единиц: для каждой улицы, для каждой кучки домов, для каждого квартала, для каждой общины и города. Он тогда только и может достичь своей цели, если покроет общество целую сеть артелей и обществ, служащих для удовлетворения всевозможных потребностей: нужды довольства, роскоши, изучения, развлечений и т.д. А эти общества точно так же не могут оставаться чисто местными; они неизбежно будут стремиться к тому, чтобы стать всенародными и международными, как это происходит уже теперь с учеными обществами, с обществами велосипедистов, с обществами для спасения утопающих и пр.

И те общественные привычки, которые неизбежно вызовет к жизни коммунизм — хотя бы вначале даже неполный коммунизм — окажутся несравненно сильнее для поддержания и развития существующего уже ядра общественных привычек, чем все возможные

карательные меры.

Вот от какой формы жизни, от какого общественного строя мы ждем развития духа взаимного соглашения. Заметим кстати, что эти соображения служат также ответом тем, кто утверждает, что коммунизм и анархизм несовместимы. На деле они составляют необходимое дополнение друг для друга.

Полное развитие личности и ее личных особенностей может иметь место — по справедливому замечанию одного из наших товарищей — только тогда, когда первые, главные потребности человека в пище и жилье удовлетворены, когда его борьба за жизнь, против сил природы, упростилась, когда его время не поглощено тысячами мелких забот о поддержании своего существования. Тогда только ум, художественный вкус, изобретательность и вообще все способности человека могут развиваться свободно.

Коммунизм представляет собою, таким образом, лучшую основу для развития личности — не того индивидуализма, который толкает людей на борьбу друг с другом и который только и был нам до сих пор известен, — а того, который представляет собою полный расцвет всех способностей человека, высшее развитие всего, что в нем есть оригинального, наибольшую деятельность его ума, чувств и воли.

Таков наш идеал, и что нам за дело до этого, что во всей своей полноте он осуществится лишь в более или менее отдаленном будущем! Его частное осуществление мы можем начать сейчас же, среди нас самих; его идеи мы должны распространять как можно шире, не медля ни минуты, — и тогда мы увидим, как наши отдаленные стремления повлияют на каждый шаг вперед, который сделает общество, как они отразятся на всех воззрениях относительно того, что следует делать сейчас же, как отнестись к каждому частному вопросу.

Наше дело — открыть, прежде всего, путем изучения современного общественного строя, его стремления, его направление, свойственные ему в данный момент развития, и указать эти стремления. Затем — осуществить эти стремления в наших сношениях с нашими единомышленниками; и наконец, — заняться уже теперь, и в особенности с наступлением революционного периода, разрушением учреждений и предрассудков, стесняющих развитие этих стремлений.

Это — все, что мы можем сделать, как мирным, так и революционным путем. Но мы знаем, что, способствуя проявлению этих стремлений, мы содействуем прогрессу, и что все, что идет против них, может только задержать прогресс.

Нам часто говорят о промежуточных ступенях, которые общество должно будет пройти, и нам предлагают бороться за достижение того, на что нам указывают, как на первый этапный пункт; впоследствии, говорят нам, можно выйти на истинную дорогу, после того как мы достигнем первого этапа.

Мне кажется, однако, что рассуждать таким образом — значит совершенно не понимать настоящего характера человеческого прогресса и пользоваться сравнением, взятым из военного дела и, в сущности, довольно неудачным. Человечество не представляет собою ни

катящегося шара, ни даже марширующей колонны солдат. Оно есть такое целое, развитие которого состоит в развитии составляющих его миллионов; и если мы уже непременно хотим делать сравнения, то материал для таких сравнений надо брать, скорее, из законов развития живых существ, чем из законов движения неживых тел. В действительности, каждый шаг в развитии общества представляет собою равнодействующую умственных деятельств всех составляющих его единиц, и он носит на себе отпечаток воли каждой из них. Каков бы ни был новый вид развития, который готовит нам двадцатый век, он неизбежно будет носить на себе отпечаток тех идей безгосударственной свободы, которые уже начинают пробуждаться теперь. Глубина этого движения будет зависеть от числа умов, порвавших с государственными предрассудками от энергии, с которой они будут разрушать старые учреждения, от впечатления, которое они произведут на общество, от ясности, с которой общественный строй освободившегося общества будет обрисовываться в умах этой массы. Но мы можем сказать уже теперь, — например, относительно Франции, — что пробуждение идей безгосударственной свободы дало французскому обществу известный толчок и что будущая революция во Франции ни в каком случае уже не будет той якобинской, сосредоточенной (централизованной) революцией, какой она была бы, если бы произошла двадцать лет тому назад.

Раз анархические идеи не представляют собою измышления какой-нибудь отдельной личности или группы, а вытекают из всего идейного движения нашего времени, мы можем быть уверены, что, каковы бы ни были результаты будущей революции, она уже не приведет нас ни к централизованному и диктаторскому коммунизму 40-х годов, ни к государственному коллективизму.

«Первый этапный пункт», наверное, не будет, следовательно, тем, что понимали под этим первым шагом всего каких-нибудь двадцать лет тому назад.

Я уже заметил, что, поскольку мы можем судить об этом на основании наших наблюдений, перед всей социалистической партией возникла в настоящее время громаднейшая задача: как согласовать ее общественный хозяйственный идеал с движением в сторону свободы личности, начинающимся в умах массы? Затем, в предыдущих революциях недоставало заботы о пробуждении духа народного почина. Теперь же люди начинают понимать, что без пробуждения именно этого почина, — повсеместно, в каждом городе и деревушке, — нет никакой возможности совершить громаднейший экономический переворот, который требуется совершить.

Отсутствие организаторского творческого почина в народных массах было, в самом деле, тем подводным камнем, о который разбились все прошлые революции. Очень сильный по своей сообразительности в нападении народ не проявлял почина и творческой мысли в деле построения нового здания. Народ дрался на баррикадах, брал дворцы, выгонял старых правителей, но дело новой постройки он предоставлял образованным классам, т.е. той же буржуазии. У буржуазии же был свой общественный идеал, она знала приблизительно, чего именно она хотела, знала, что можно будет извлечь, в ее собственных интересах, из общественной бури. И, как только революция ломала старые порядки, буржуазия бралась за постройку, в свою пользу.

В революции разрушение составляет только часть работы революционера. Ему приходится, кроме того, сейчас же строить вновь. И вот эта постройка может произойти либо по старым рецептам, заученным из книг и навязываемым народу всеми защитниками старого, всеми неспособными додуматься до нового. Или же перестройка начнется на новых началах; т.е. в каждой деревне, в каждом городе начнется самостоятельная постройка социалистического общества под влиянием некоторых общих начал, усвоенных массой, которая будет искать их практического осуществления на месте, в сложных отношениях, свойственных каждой местности. Но для этого у народа должен быть свой идеал, для этого в его среде должны быть люди почина, инициативы [6].

А между тем именно эту инициативу рабочего и крестьянина сознательно или бессознательно душили все партии — в том числе и социалисты — ради партийной дисциплины. Все распоряжения исходили из центра, от комитетов, а местным органам оставалось только подчиняться, чтобы не нарушать единства организации. Целая система воспитания, целая ложная история, целая непонятная наука были выработаны с этой целью.

Вот почему тот, кто будет стремиться уничтожить этот устарелый и вредный прием, кто сумеет разбудить в личностях и в группах дух почина, кому удастся положить эти принципы в основу своих поступков и своих отношений с другими людьми, кто поймет, что в разнообразии и даже в борьбе заключается жизнь и что единообразие есть смерть, тот потрудится не для будущих веков, а для ближайшей революции.

Еще несколько слов.

Мы не боимся «злоупотребления свободой», Только те, кто ничего не делают, не делают промахов. Что же касается людей, умеющих только повиноваться, то и они делают столько же промахов и ошибок, или даже больше, чем люди, которые ищут свой путь сами, стараясь действовать в том направлении, на которое их толкает склад их ума, в связи с воспитанием, которое им дало общество. Нет сомнения, что дурно понятая и в особенности дурно истолкованная идея свободы личности может повести — в особенности в среде, где понятие солидарности недостаточно вошло в учреждения, — к поступкам, возмущающим общественную совесть. Допустим же заранее, что это будет случаться. Но достаточная ли это причина для того, чтобы отвергнуть вообще начала свободы? Достаточная ли это причина для того, чтобы согласиться с теми, кто восхваляет цензуру для предотвращения «злоупотреблений» освобожденной печати и гильотинирует людей передовых партий ради поддержания единообразия и дисциплины? В конце концов, как нам показал опыт 1793 года, — ведь это лучшее средство, чтобы приготовить торжество реакции. Единственное, что мы можем сделать при виде противообщественных поступков, это отказаться от правила: «Каждый за себя, а государство за всех» и найти в себе достаточно смелости, чтобы выражать открыто наше мнение. Это, конечно, может повести к борьбе, но борьба и есть жизнь. Притом же такая борьба приведет и нас самих к более справедливой оценке большинства поступков, чем та, которую мы сделали бы под исключительным влиянием наших установленных понятий. Многие ходячие понятия нравственности тоже нуждаются в переоценке.

Когда нравственный уровень общества понизился до такой степени, до какой он понизился у нас, тогда мы должны предвидеть заранее, что протест против такого общества будет принимать иногда такие формы, которые будут нас коробить; но этого еще недостаточно, чтобы заранее осудить всякий протест. Конечно, нас глубоко возмущают отрубленные головы, насаженные на пики в 1789 году, но не представляли ли они собою последствий виселиц старого королевского порядка и железных клеток, о которых нам говорил Виктор Гюго? Будем надеяться, что избиение тридцати пяти тысяч парижан в 1871 г. и осада Парижа Тьером не оставили слишком много жестокости в характере французского народа; будем надеяться, что разврат высших классов, обнаружившийся в недавних процессах, не окончательно разъял еще сердце нации. Да, будем надеяться на это, будем содействовать этому! Но если бы эти наши надежды нас обманули, — то неужели вы, молодые социалисты, отвернетесь от восставшего народа только потому, что жестокость теперешних господствующих классов оставила в его уме некоторые следы? Что от грязи, даримой наверху, далеко разлетелись брызги во все стороны?

Нет сомнения, что глубокий переворот, совершающийся в умах, не может оставаться исключительно в области мысли, а должен перейти в область действий. Как справедливо заметил слишком рано похищенный смертью молодой философ Марк Гюйо (в одной из самых лучших книг [7]), написанных за последние тридцать лет), между мыслью и делом нет резкой пропасти — по крайней мере для тех, кто не привык к современной софистике. Мысль есть уже начало дела.

Вот почему анархические идеи вызвали, во всех странах и во всевозможных формах, целый ряд действий протеста; сначала — протеста личного против капитала и государства, затем протеста коллективного, в виде стачек и рабочих бунтов, причем и тот и другой вид протеста готовят, как в умах, так и в жизни, восстание массовое, т.е. революцию. Социализм и анархизм в этом отношении лишь следовали за тем развитием «идей—сил» (мыслей, ведущих к делам), которое всегда наблюдается при приближении крупных народных восстаний.

Вот почему было бы ошибкою со стороны других и наглостью с нашей стороны приписывать исключительно анархизму все резкие проявления протеста. Если пересмотреть все подобные проявления за последнюю четверть века, мы увидим, что они исходили отовсюду.

По всей Европе происходило множество рабочих и крестьянских бунтов. Стачка, бывшая когда-то «войной со сложенными руками», теперь беспрестанно переходит в бунт, достигая иногда — например, в Соединенных Штатах, в Бельгии, в Андалузии — размеров обширных восстаний [8]. Такие стачечные бунты, перешедшие в восстание, насчитываются дюжинами как в Старом, так и в Новом Свете.

С другой стороны, акты единичного протеста принимают всевозможные формы, и все революционные партии прибегают к ним. Перед нами проходят: молодая революционерка Вера Засулич — просто социалистка, стрелявшая в Трепова; социал-демократ Гедель и республиканец Нобилинг, стрелявшие в германского императора; рабочий бочар Отеро, стрелявший в испанского короля, и религиозный мадзинианец Пассанте, покушавшийся на

итальянского короля. Затем мы видим аграрные убийства в Ирландии и взрыв в Лондоне, организованные ирландскими националистами, ненавидящими и социализм, и анархизм. Мы видим целое поколение русской молодежи — социалистов, конституционалистов и якобинцев, объявивших беспощадную войну Александру II и заплативших за этот поход против самодержавия тридцатью пятью виселицами и целыми сотнями замученных в Шлиссельбурге и Сибири. Многочисленные покушения происходят точно так же среди углекопов — бельгийских, английских и американских. И только к концу этого периода появляются в Испании и во Франции анархисты со всеми проявлениями протеста.

Вместе с тем, в течение всего этого периода, избиения — массовые и отдельные, — организуемые правительствами, не прекращаются. Версальское собрание избивает, при знаках одобрения всей европейской буржуазии, тридцать пять тысяч парижских рабочих, большею частью пленных побежденной коммуны. «Пинкертонские разбойники — частная армия, содержащая богатыми американскими капиталистами, — избивают по всем правилам искусства рабочих-стачечников. Попы подстрекают слабоумного человека стрелять в Луизу Мишель, которая, как истинная анархистка, спасает его из рук правосудия, беря его под свою защиту. Вне Европы происходят избиения индейцев в Канаде, убийство Зиля, истребление Матабелей, бомбардировка Александрии, не говоря уже о тех бойнях, которым дают название войн — тонкинской, мадагаскарской и других [9]. Наконец, ежегодно приговаривают восстающих рабочих Старого и Нового Света к годам тюрьмы, в общем насчитывающимся сотнями и даже тысячами, и осуждают таким образом на самую ужасную нищету их жен и детей, которые платятся за так называемые преступления отцов; других же восставших ссылают в Сибирь, на острова Треними, Липарию и Пантелларию, в Бириби [10] в Нумею, в Гвиану и в этих местах ссылки расстреливают ссыльных за малейшие неповиновения [11].

Какая бы получилась страшная книга, если бы кого-нибудь дал перечень всех страданий, перенесенных за последнюю четверть века рабочим классом и его защитниками! Сколько ужасающих подробностей, неизвестных публике, — подробностей, которые преследовали бы вас, как кошмар, если бы я стал рассказывать их сегодня! Какой взрыв негодования произвела бы каждая страница такого мартиролога современных провозвестников великой социальной революции! Но ведь эта книга пережита нами: каждый из нас пробежал по крайней мере несколько страниц, полных крови и ужасающих мук...

И вот, имея перед собою эту массу горя, эти казни, эти ссылки в Гвиану, в Сибирь, в Нумею, люди еще смеют ставить в упрек восставшему рабочему его неуважение к человеческой жизни!

Между тем все в нашей теперешней жизни стремится заглушить уважение к жизни человека! Судья, отдающий приказание повесить или голову отрубить, и его заместитель — палач, задушивающий людей среди белого дня в Мадриде или гильотинирующий их в утреннем тумане в Париже, при смехе собравшихся подонков общества; генерал, совершающий избиение в Тонкине или Туркмении, и газетный корреспондент, старающийся покрыть славою убийц; хозяин, отравляющий своих рабочих свинцовыми белилами, потому что, по его словам, «замена их цинковыми белилами на столько-то копеек дороже», английский якобы географ Стэнли, убивающий старуху для того, чтобы не разбудила своими

криками негритянскую деревню, и немецкий географ, вешающий «за неверность» негритянскую девушку, которую он взял себе в сожительницы; военный суд, ограничивающийся двухнедельным арестом, когда дело идет о тюремщике из Бириби, уличенном в убийстве... всё, всё, решительно всё в современном обществе учит полному презрению к человеческой жизни — как к товару, который так дешево стоит на рынке! И те, кто казнит, убивает, истребляет этот дешевый человеческий товар, кто возводит в религиозный догмат правило, что для общественного спасения нужно вешать, расстреливать и убивать, еще смеют жаловаться на недостаточное уважение к человеческой жизни со стороны революционеров!..

Нет, до тех пор, пока общество будет следовать закону кровавой мести, пока вера и закон, казарма и суд, тюрьма и фабричная каторга, печать и школа будут продолжать учить полному презрению к человеческой жизни, — до тех пор не требуйте уважения к ней со стороны тех, кто восстает против этого общества! Это значило бы требовать от них доброты и великодушия, которых нет теперь в обществе.

Если вы хотите, вместе с нами, полного уважения к свободе, а следовательно, и к жизни личности, вы неизбежно должны отвергнуть всякое управление человека человеком, в какой бы форме оно ни проявлялось; вы должны принять начала анархизма, которые вы до сих пор презирали. А, принявши их, вы должны будете стремиться, вместе с нами, к отысканию таких общественных форм, которые лучше всего соответствовали бы этому идеалу и положили бы конец всем возмущающим вас актам насилия.

Примечания

[1] Вся тактика английской аристократии и плутократии за полтора столетия была в этом направлении: ради нее парламент создал право захвата общинных земель (миллионы акров захвачены были в течение *этого* девятнадцатого века), и даже последняя война против *буров* была вызвана именно желанием Йоганнесбургских золотопромышленников уничтожить *общинное землевладение* у негров, обезземелить их, загнать их в «казармы» и заставить их, голодом и штрафами, работать за бесценок в заводах, рудниках, — так же, как работают негры в алмазных копях в Кемберлее.

[2] Политическая экономия, как буржуазная, так и социалистическая, остаётся до сих пор в том же положении, в каком была геология в конце прошлого века, т.е. чистой метафизикой. Экономисты не понимают, как ненаучно, например, утверждать *количественные* отношения, не давая себе труда, и даже не понимая необходимости *количественно* проверить утверждаемые им количественные законы. Что сказали бы мы, например, про физика, который, видя, что камень, свалившийся с 5-го этажа, летит скорее, чем камень, упавший с 1-го этажа, сказал бы: «пространство, пройденное камнем, пропорционально времени, которое он падал» и не подозревал бы необходимости проверить цифрами свое утверждение? А между тем, хотя бы по вопросу о меновой ценности нам говорят, что она измеряется количеством необходимого труда (т.е., стало быть, пропорциональна ему), даже не замечая, что для того, чтобы утверждать, что между двумя количествами существует отношение прямой пропорциональности (что «одно есть прямолинейная функция другого, как говорят математики) *обязательно* доказать, что такое отношение действительно существует. Экономист же, заметивши: «разве ценность алмазов не уменьшилась с тех пор, как их стали много находить в Африке?» — довольствуется этим наивным замечанием. О том же, что всякий естественный закон выражается в форме условной, т.е. «если это существует, то произойдет то-то», он как будто и не слышал, а прямо так и говорит: «Мерило ценности — такой-то труд», между тем как, если оно так и есть, то есть же условия, при которых это возможно, и весь интерес лежит именно в изучении этих условий: всегда ли они налицо, или только иногда? Я говорю, конечно, наших современных писателей. Относительно трудовой теории ценности ее основатель, Адам Смит, так же мало виновен в подобном утверждении, как и Ньютон в утверждении, что «все тела притягиваются так-то».

В кругу общественных наук есть, конечно, место для *науки* политической экономии. Но эта наука, когда ее начнут разрабатывать, будет совсем непохожа на теперешнюю. Она займет место физиологии общества. Физиология растений (физиология питания, размножения) изучает, какими приспособлениями пользуются растения, чтобы достигать наибольших результатов (сохранение особи и вида) при наименьшей затрате энергии; физиология общества то же сделает для общества и, изучив эти приспособления и сравнив их с их результатами, скажет: такие-то приспособления представляют наибольшую экономию энергии при наибольшей жизненности особи и вида, а такие-то — безумную трату сил. Такие-то не экономны, но полезны тем-то. Сочинять же метафизические трилогии насчет

развития общества и открывать *законы*, не подозревая даже условности всякого так называемого закона природы, — значит делать то, что делали геология и физиология, когда они еще не были науками. Оно, может быть, и нужно, только науки политической экономии еще не существует.

[3] Подробности об этом периоде читатель найдет в брошюре «Государство, его роль в истории», а также с указанием источников в статьях: «Взаимная помощь»: «III. Варварский период» и «IV. Средневековый город».

[4] За рубль с небольшим в год вы страхуете имущество в 1000 рублей, и что бы у вас ни украли, компания без всяких разговоров выплачивает стоимость украденного. — «Вы, конечно, обращаетесь к полиции, чтобы разыскать вора?» — спросили мы одного агента. — «Никогда; это совершенно бесполезно. Притом страхование оплачивает все расходы».

[5] Если в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах да еще в Швейцарии народ имеет кое-какое влияние на государственные дела, то только потому, что в этих странах во всякой деревушке, во всякой мастерской, а тем более в больших городах есть люди, которые «когтем и зубом» готовы стоять за *свои человеческие личные права* и не позволят ни себя, ни свои права втоптать в грязь. Когда недавно (в 1886 году) в Лондоне опять заговорили, что надо бы не пускать манифестацию голодных рабочих в Гайд-парк, то вся печать завопила: «А забыли небось 1878 год (года, наверно, не помню), когда полицейские преградили толпе дорогу в парк? Что они тогда наделали? Разломали железную решетку и ее пиками полицейских перебили. С нашим народом нельзя шутить. Наша „чернь“ весь Лондон способна разнести». И разнесли бы. Могу прибавить, что правительство отлично это знало в 1886 году. Свободу, какая бы она ни была, надо завоевывать, а не ждать ее от «высочайше дарованных» конституций.

[6] Возьмите, например, Парижскую коммуну 1871 года. Не ученые, но руководители народа, даже не вожаки Международного Союза рабочих шепнули парижскому народу, что надо провозгласить коммуну; что в независимом городе, объявившем, что он не намерен ждать, пока вся Франция дойдет до идей радикальной, социалистической (или, по крайней мере, равенственной) республики, надо начать водворять такую республику. Эта идея жила в Париже, в народе, с 1793 года; ее развивал в 1848 году Прудон; она гнездилась, полусознанная — получувство и полумысль — в умах парижских рабочих, И они — даже сюрпризом для большинства вожаков — провозгласили коммуну. Они объявили, что им нет дела до Франции — государства; что они у себя, в своем любимом Париже, намерены начать нечто новое: выступить на новый смутно-социалистический путь точно так же, как в 1793 году в каждом городе, в каждой деревне Восточной Франции местный Робеспьер и местный Марат выступали на новый, нефеодальный путь: выгоняли старых чиновников, вооружались, отнимали общинные земли назад, жгли уставные грамоты и т.д. И, не дожидаясь никого, парижские блузники, рабочие, организовывали военную защиту города, организовывали почту (на диво английским корреспондентам) и начали (только под конец, к несчастью) организовывать общинное кормление. Если бы в эту пору у парижского народа, кроме идей равенства и идей коммуны, было бы также и смутное сознание, что дома́ должны быть отобраны у теперешних хозяев коммуной, что коммуне, т.е. блузникам, надо организовать кормление всего народа, а также производство всего, что нужно для этого, — тогда

коммуна, быть может, и не погибла бы: вместо 35 000 защитников она, вероятно, имела бы втрое больше; и тогда Тьер с Бисмарком, по всей вероятности, не справились бы с нею. Но этих мыслей у рабочих в то время еще не было; а от буржуа, даже от ярых революционеров из среднего сословия, их, конечно, нечего было ждать. Таким образом, Парижская коммуна указала нам одно: Социальная революция должна начаться *местно*; она может быть сделана *только народным почином* — не сверху, а снизу. А как ее сделать, хоть бы и в одном городе? С чего начать? Нам выпадает на долю обдумать это. Наш ответ, в общих чертах, таков: начинать с кормления всех, с устройства всех в порядочном жилье; говоря учено, с *распределения*. Производство же должно устроиться *согласно надобностям распределения*.

[7] Нравственность без принуждения и без санкции.

[8] Также в Милане и в Сицилии.

[9] Как теперь пришлось бы удлинить этот список бойнями англичан в Африке, русских в Маньчжурии и т.д. и т.д.

[10] Исправительные военные батальоны Франции в Алжирии, где происходят такие неслыханные зверства, которые и николаевским палачам не снились. В Гвиане (официальные источники) одна треть заключенных умирает каждый год. Туда и ссылают анархистов.

[11] Наконец, здесь же следовало бы упомянуть про пытки анархистов в крепости Монжюинх в Испании. Мы не верили сперва возможности их зверств: трехдневное сечение, каски с винтами, надевающиеся на голову, выдергиванье ногтей... Но пришлось сдаться перед очевидностью фактов и докторских свидетельств, когда, после того, как анархисты убили первого министра Кановаса, и после постоянных угроз королеве, она вмешалась, наконец, а затем поднялось и общественное мнение, и некоторые из пытанных были выпущены. Теперь все они, приговоренные после пыток к пожизненной каторге, выпущены на волю. Некоторые из пытанных с нами, в Лондоне.